**В УСАДЬБЕ**

   Павел Ильич Рашевич ходил, мягко ступая по полу, покрытому малороссийскими плахтами, и бросая длинную узкую тень на стену и потолок, а его гость Мейер, исправляющий должность судебного следователя, сидел на турецком диване, поджав под себя одну ногу, курил и слушал. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, как в комнате, соседней с кабинетом, накрывали на стол.

   -- Как хотите-с, -- говорил Рашевич, -- с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет очевидным, что белая кость -- не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой, имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы -- юрист и не вкусили никаких других наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете обольщать себя иллюзиями насчет равенства, братства и прочее; я же -- неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, -- не пустые звуки.

   Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, pince-nez не держалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове "дарвинист" молодцевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду. Он был одет в очень короткий поношенный пиджак и узкие брюки; быстрота движений, молодцеватость и этот кургузый пиджак как-то не шли к нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архиерея или маститого поэта, была приставлена к туловищу высокого худощавого и манерного юноши. Когда он широко расставлял ноги, то длинная тень его походила на ножницы.

   Вообще он любил поговорить, и всегда ему казалось, что он говорит нечто новое и оригинальное. В присутствии же Мейера он чувствовал необыкновенный подъем духа и наплыв мыслей. Следователь был ему симпатичен и вдохновлял его своею молодостью, здоровьем, прекрасными манерами, солидностью, а главное -- своим сердечным отношением к нему и к его семье. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, как было известно ему, рассказывали про него, будто он разговорами вогнал в гроб свою жену, и называли его за глаза ненавистником и жабой. Один только Мейер, человек новый и непредубежденный, бывал у него часто и охотно и даже где-то говорил, что Рашевич и его дочери -- единственные люди в уезде, у которых он чувствует себя тепло, как у родных. Нравился он Рашевичу также и за то, что был молодым человеком, который мог бы составить хорошую партию для Жени, старшей дочери.

   И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и с удовольствием поглядывая на умеренно полного, красиво подстриженного, приличного Мейера, Рашевич мечтал о том, как он пристроит свою Женю за хорошего человека и как потом все заботы по имению перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не взнесены уже за два срока, и разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч!

   -- Для меня не подлежит сомнению, -- продолжал Рашевич, всё больше вдохновляясь, -- что если какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушие охраняются в сыне путем воспитания и упражнения, и если он женится на принцессе, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и так далее, пока не становятся видовою особенностью и не переходят органически, так сказать, в плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и знатные молодые люди не женились чёрт знает на ком, высокие душевные качества передавались из поколения в поколение во всей их чистоте, охранялись и с течением времени через упражнение становились всё совершеннее и выше. Тем, что у человечества есть хорошего, мы обязаны именно природе, правильному естественно-историческому, целесообразному ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему белую кость от черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусства, право, понятия о чести, долге... Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. Как хотите-с! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его с собой за стол, то этим самым я охраняю лучшее, что есть на земле, и исполняю одно из высших предначертаний матери-природы, ведущей нас к совершенству...

   Рашевич остановился, расчесывая бороду обеими руками; остановилась на стене и его тень, похожая на ножницы.

   -- Возьмите вы нашу матушку-Расею, -- продолжал он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. -- Кто ее лучшие люди? Возьмите наших первоклассных художников, литераторов, композиторов... Кто они? Всё это, дорогой мой, были представители белой кости. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой -- не дьячковские дети-с!

   -- Гончаров был купец, -- сказал Мейер.

   -- Что же! Исключения только подтверждают правило. Да и насчет гениальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставим имена и вернемся к фактам. Что вы, например, скажете, сударь мой, насчет такого красноречивого факта: как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали -- в высший свет, в науку, в литературу, в земство, в суд, то, заметьте, за высшие человеческие права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой орде. В самом деле, как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько неврастеников, психических калек, чахоточных и всяких заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как осенние мухи. Если бы не это спасительное вырождение, то от нашей цивилизации давно бы уже не осталось камня на камне, всё слопал бы чумазый. Вы скажите мне, сделайте милость: что до сих пор дало нам это нашествие? Что принес с собой чумазый? -- Рашевич сделал таинственное, испуганное лицо и продолжал: -- Никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь! У нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, и вся их деятельность проникнута одним духом: как бы побольше содрать и с кого бы снять последнюю рубашку. Всех этих нынешних, которые выдают себя за передовых и честных людей, вы можете купить за рубль-целковый, и современный интеллигент отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите с ним, то должны покрепче держаться за карман, а то вытащит бумажник. -- Рашевич подмигнул и захохотал. -- Ей-богу, вытащит! -- проговорил он радостно тонким голоском. -- А нравственность? Нравственность какова? -- Рашевич оглянулся на дверь. -- Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадывает и покидает мужа, -- это что, пустяки! Нынче, батенька, двенадцатилетняя девчонка норовит уже иметь любовника, и все эти любительские спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцепить богатого кулака и пойти к нему на содержание... Матери продают своих дочерей, а у мужей прямо так и спрашивают, по какой цене продаются их жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

   Мейер, всё время молчавший и сидевший неподвижно, вдруг поднялся с дивана и посмотрел на часы.

   -- Виноват, Павел Ильич, -- сказал он, -- мне уже пора домой.

   Но Павел Ильич, который еще не кончил говорить, обнял его и, насильно усаживая на диван, поклялся, что не отпустит его без ужина. И Мейер опять сидел и слушал, но уже посматривал на Рашевича с недоумением и тревогой, как будто только теперь начинал понимать его. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, вошла горничная и сказала, что барышни просят ужинать, он легко вздохнул и первый вышел из кабинета.

   В соседней комнате за столом сидели дочери Рашевича, Женя и Ираида, 24 и 22-х лет, обе черноглазые, очень бледные, одинакового роста. Женя с распущенными волосами, а Ираида с высокою прической. Перед тем, как есть, обе выпили по рюмке горькой настойки, с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и обе сконфузились и захохотали.

   -- Не шалите, девочки, -- сказал Рашевич.

   Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а с отцом и гостем по-русски. Перебивая друг друга и мешая русскую речь с французской, они стали быстро рассказывать, как именно в эту пору, в августе, они в прежние годы уезжали в институт и как это было весело. Теперь же ехать некуда и приходится жить и усадьбе безвыездно всё лето и зиму. Какая скука!

   -- Не шалите, девочки, -- повторил Рашевич.

   Ему самому хотелось говорить. Если при нем говорили другие, то он испытывал чувство, похожее на ревность.

   -- Такие-то дела, дорогой мой... -- начал он опять, ласково глядя на следователя. -- Мы по доброте и простоте и из страха, чтобы нас не заподозрили в отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповедуем братство и равенство с кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидели бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сделали то, что цивилизация висит уже на волоске. Дорогой мой! То, что веками добывали наши предки, не сегодня-завтра будет поругано и истреблено этими новейшими гуннами...

   После ужина все пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, приготовили ноты... Но отец всё продолжал говорить, и неизвестно было, когда он кончит. Они уже с тоской и досадой смотрели на эгоиста-отца, для которого, очевидно, удовольствие поболтать и блеснуть своим умом было дороже и важнее, чем счастье дочерей. Мейер -- единственный молодой человек, который бывал в их доме, бывал -- они это знали -- ради их милого женского общества, но неугомонный старик завладел им и не отпускал его от себя ни на шаг.

   -- Подобно тому, как западные рыцари отразили нападение монголов, так и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага, -- продолжал Рашевич тоном проповедника, поднимая вверх правую руку. -- Пусть я явлюсь перед чумазым не как Павел Ильич, а как грозный и сильный Ричард Львиное Сердце. Перестанем же деликатничать с ним, довольно! Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: "Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!" Прямо в харю! -- продолжал Рашевич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем. -- В харю! В харю!

   -- Я не могу этого, -- проговорил Мейер, отворачиваясь.

   -- Почему же? -- живо спросил Рашевич, предчувствуя интересный и продолжительный спор. -- Почему же?

   -- Потому, что я сам мещанин.

   Сказавши это, Мейер покраснел, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестели на глазах.

   -- Мой отец был простым рабочим, -- добавил он грубым, отрывистым голосом, -- но я в этом не вижу ничего дурного.

   Рашевич страшно смутился и, ошеломленный, точно пойманный на месте преступления, растерянно смотрел на Мейера и не знал, что сказать. Женя и Ираида покраснели и нагнулись к нотам; им было стыдно за своего бестактного отца. Минута прошла в молчании, и стало невыносимо совестно, когда вдруг как-то болезненно, натянуто и некстати прозвучали в воздухе слова:

   -- Да, я мещанин и горжусь этим.

   Затем Мейер, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошел в переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

   -- А вам будет сегодня темненько ехать, -- бормотал Рашевич, идя за ним. -- Луна теперь поздно восходит.

   Оба стояли на крыльце в потемках и ждали, когда подадут лошадей. Было прохладно.

   -- Звезда упала... -- проговорил Мейер, кутаясь в пальто.

   -- В августе их много падает.

   Когда подали лошадей, Рашевич поглядел внимательно на небо и сказал со вздохом:

   -- Явление, достойное пера Фламмариона...

   Проводив гостя, он прошелся по саду, жестикулируя в потемках руками и не желая верить, что только что произошло такое странное, глупое недоразумение. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первых, с его стороны было крайне неосторожно и бестактно поднимать этот проклятый разговор о белой кости, по узнавши предварительно, с кем он имеет дело; нечто подобное с ним уже случалось раньше; как-то в вагоне он стал бранить немцев, и потом оказалось, что все его собеседники -- немцы. Во-вторых, он чувствовал, что Мейер уже больше не приедет к нему. Эти интеллигенты, вышедшие из народа, болезненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

   -- Нехорошо, нехорошо... -- бормотал Рашевич, отплевываясь; ему было неловко и противно, как будто он поел мыла. -- Ах, нехорошо!

   В окно из сада видно было, как в гостиной около рояля Женя с распущенными волосами, очень бледная, испуганная, говорила о чем-то быстро-быстро... Ираида ходила из угла в угол, задумавшись; но вот и она заговорила, тоже быстро, с негодующим лицом. Говорили обе разом. Не было слышно ни одного слова, но Рашевич догадывался, о чем они говорили. Женя, вероятно, роптала на то, что отец своими разговорами отвадил от дома всех порядочных людей и сегодня отнял у них единственного знакомого, быть может, жениха, и теперь уже у бедного молодого человека во всем уезде нет места, где он мог бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она с отчаянием поднимала вверх руки, говорила, вероятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости...

   Придя к себе в комнату, Рашевич сел на кровать и стал медленно раздеваться. Состояние духа было угнетенное, и томило всё то же чувство, как будто он поел мыла. Было стыдно. Раздевшись, он поглядел на свои длинные жилистые старческие ноги и вспомнил, что в уезде его прозвали жабой и что после всякого длинного разговора ему бывало стыдно. Как-то так, роковым образом выходило, что начинал он мягко, ласково, с добрыми намерениями, называя себя старым студентом, идеалистом, Дон-Кихотом, но незаметно для самого себя мало-помалу переходил на брань и клевету и, что удивительнее всего, самым искренним образом критиковал науку, искусства и нравы, хотя вот уже двадцать лет прошло, как не прочел он ни одной книжки, не был нигде дальше губернского города и, в сущности, не знал, что происходит на белом свете. Если же он садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и в письме выходила брань. И всё это странно потому, что на самом деле он чувствительный, слезливый человек. Уж не сидит ли в нем нечистый дух, который ненавидит и клевещет в нем помимо его воли?

   -- Нехорошо... -- вздыхал он, лежа под одеялом. -- Нехорошо!

   Дочери тоже не спали. Послышались хохот и крик, как будто за кем-то гнались: это с Женей сделалась истерика. Немного погодя зарыдала и Ираида. По коридору несколько раз пробежала босая горничная...

   -- Экая история, господи... -- бормотал Рашевич, вздыхая и поворачиваясь с боку на бок. -- Нехорошо!

   Во сне давил его кошмар. Приснилось ему, будто сам он, голый, высокий, как жираф, стоит среди комнаты и говорит, тыча перед собой пальцем:

   -- В харю! В харю! В харю!

   Он проснулся в испуге и прежде всего вспомнил, что вчера произошло недоразумение и что Мейер, конечно, уже больше не приедет. Вспомнил он также, что надо проценты платить в банк, дочерей замуж выдавать, надо есть, пить, а тут болезни, старость, неприятности, скоро зима, дров нет...

   Был уже десятый час утра. Рашевич медленно оделся, напился чаю и съел два больших ломтя хлеба с маслом. Дочери не вышли к чаю; они не хотели встречаться с ним, и это оскорбляло его. Он полежал у себя в кабинете на диване, потом сел за стол и принялся писать дочерям письмо. Рука у него дрожала и чесались глаза. Он писал о том, что он уже стар, никому не нужен и что его никто не любит, и просил дочерей забыть о нем и, когда он умрет, похоронить его в простом сосновом гробе, без церемоний, или послать его труп в Харьков, в анатомический театр. Он чувствовал, что каждая его строчка дышит злобой и комедиантством, но остановиться уже не мог и всё писал, писал...

   -- Жаба! -- вдруг послышалось из соседней комнаты; это был голос старшей дочери, негодующий, шипящий голос. -- Жаба!

   -- Жаба! -- повторила, как эхо, младшая. -- Жаба!